

Асмодей Денница

**КРАСНАЯ
ОХОТА**

Сыч&Сыр

Асмодей Денница

КРАСНАЯ ОХОТА

«Автор»

2026

Денница А.

КРАСНАЯ ОХОТА / А. Денница — «Автор», 2026

Лето 1980 года. До Олимпиады — месяц, и все силы страны — в Москве. В станице Курчанской на Кубани рыбак уходит вечером проверить сеть и не возвращается. Утром его находят в камыше: кожа снята, рёбра разведены, позвоночник уложен на грудь, а на кости — ровные насечки, будто кто-то поставил отметку в журнале... Три круга одной охоты ведут героев от камышовых плавней к песчаной косе и дальше — под озеро Абрау, в затопленные галереи, где за кладкой из гладких плит спит то, что не строили люди. Им придётся научиться читать чужие знаки, торговаться с хищником, для которого охота — язык, и решать, кого впускать в дом, а кого оставить снаружи. Пока Москва смотрит Олимпиаду, в приграничном районе решается, останется ли человек человеком — или станет дичью, которая научилась отвечать. «Красная охота» — фантастический триллер-экшен с детективом, в трех частях: «Курчанский водяной», «Бугазский демон», «Утришский оборотень».

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Падение звезды	5
Глава 1. Тело без кожи	10
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Асмодей Денница КРАСНАЯ ОХОТА

Пролог. Падение звезды

Часть первая. Курчанский водяной

Кто уходит в камыш в грозу — обратно не выходит. Из тетради деда Степана Хмары, станица Курчанская

Гроза собиралась над Таманью весь вечер.

Сначала — с запада, из-за моря, приползла тяжёлая сизая стена. Она росла медленно, как тесто в деже, поднималась от горизонта к зениту и заслоняла звёзды одну за другой. Воздух сделался липким — хоть ложкой черпай. Пахло гнилой рыбой, тиной и ещё чем-то кислым, будто земля вспотела перед дождём.

К девяти стихло всё: лягушки, выпь, даже комары — эти чертовы комары, что к концу июня сводили с ума людей и скотину, — притихли. Тишина нависла над Курчанским лиманом такая плотная, что Григорий Коваль слышал, как бьётся сердце в собственных ушах.

Станица в такие вечера не засыпала, а истомá переходила в разговоры. На лавках у палисадников сидели старухи и обсуждали, кому в этом году дали путёвку в санаторий, а кому не дали; у колонки стояла очередь с вёдрами, и вода из крана шла тёплая, пахнувшая железом; возле клуба, где на афише неделю висело «Белое солнце пустыни», пацаны гоняли мяч, пока совсем не стемнело. Из открытых окон несло бормотание телевизора — в станице их было четыре, и по вечерам к тем четырём хатам приходили соседи, как в кино. Говорили про Олимпиаду. Говорили, что в Москве теперь не протолкнуться, что милиции туда согнали видимо-невидимо, что в районе остались одни отпускники да старики. Говорили и про другое: что в плавнях опять кто-то ставит сети, что рыбы стало меньше, что председатель обещал разобратся и не разобрался.

Над лиманом висела та особая южная духота, когда воздух не остывает даже к полуночи, а становится только тяжелее, как будто в него подмешали воды. Собаки лежали на боку, вытянув лапы. Куры сидели на насесте с открытыми клювами. В камыше, куда не доставал ни один фонарь, было тихо так, что слышно было, как на том берегу, у фермы, мычит корова, — и это мычание шло над водой ровно, как по проводу.

Гроза стояла в двадцати километрах и не двигалась.

Ему было тридцать два. В рыбколхозе он числился мотористом, а жил с воды: сеть, лодка, перемёт, две кадки соли в сарае. Жена Надя работала в столовой при школе, старший сын перешёл в шестой класс, младший — в первый, мать лежала в горнице и по ночам кашляла так, что Коваль просыпался и лежал, глядя в потолок, пока кашель не отпустит. Крыша сарая была покрыта наполовину: денег на второй рулон не хватало, и он собирал их с июня, по три-четыре рубля за ночь.

Утром Надя сказала ему, чтобы он не ездил сегодня на воду.

Она сказала это просто, между делом, вытирая руки о фартук: приснилось, будто вода стоит в хате, ровно по пояс, и в ней плавает что-то большое, тёмное, и она не может дотянуться до детей. Коваль тогда засмеялся и сказал, что если бы снам верить, он бы сроду рыбы не поймал. Надя не обиделась — она редко обижалась, — только посмотрела на него и сказала: «Ну смотри». А он подумал про второй рулон рубероида, который надо купить в Темрюке, и про то, что до конца июня нужно закрыть крышу, потому что в июле начнутся дожди, а в августе уже поздно.

Сеть он ставил в ерике — узкой протоке между лиманом и камышовым озерцом, куда не ходил никто. Место знали двое: он и дед Степан Хмара, но дед был стар и в воду уже не лез. Здесь всегда брала тарань, а по осени заходил сазан, тяжёлый, как чугунное колесо. Коваль приехал на велосипеде «Урал», прислонил его к кусту бузины, снял кеды, закатал штаны и вошёл в воду.

Вода была тёплая, как парное молоко. Она держала его за икры, липла к коленям, и в ней было что-то живое — не рыба, а сама вода, её густая, маслянистая тяжесть. Комары не звенели. В камыше стояла та особенная, выжидающая тишина, от которой человек начинает дышать ртом.

Он размотал сеть, привычно расправил её от грузил к поплавкам, и в этот момент в небе стало светло.

Свет пришёл с юго-востока, низко, будто кто-то провёл по небу зелёной хворостиной. Не молния — у молнии есть излом и гнев, а тут была ровная, холодная дуга, и она не погасла, а втянулась в землю за горизонтом, за плавнями, туда, где лежали топкие острова.

Коваль поднял голову. Он успел подумать две вещи: что это, наверное, военные что-то пускают с полигона, и что Надя просила не ходить сегодня в воду, потому что ей приснилось.

Через три секунды удар пришёл не с неба.

Вода вздулась. Не всплеснула, не закипела — именно вздулась, как вздувается тесто, поднялась из-под ног, толкнула его в грудь, вышибла воздух, и в то же мгновение по лиману пошёл тяжёлый, низкий гул, от которого заныли зубы. Сеть вырвало из рук и унесло. Коваль упал на спину, хлебнул воды, вскочил, побежал — вода не пускала, держала за штаны, за колени, — и всё-таки выбрался на берег, на илистую, тёплую от дня полосу, где остались его кеды.

На острове горел огонь.

До острова было метров пятьсот, и Коваль знал его наизусть: топкий, в кустах, с одной сухой кочкой посередине, куда изредка выходили кабаны. Никто там не жил и не мог жить. А сейчас над кустами стояло рыжее пятно, ровное, как от костра, и в этом пятне двигались тени.

Коваль стоял босиком, в мокрых штанах, и с него текла вода. Ему хотелось думать про браконьеров. Про то, что кто-то приехал на лодке, развёл костёр, ловит его рыбу и смеётся. Он даже сделал шаг к велосипеду, чтобы ехать к деду Степану и сказать: там люди, чужие, надо бы посмотреть. И в этот момент справа, в камыше, щёлкнуло.

Звук был негромкий и очень отчётливый: сухой, механический, как щелчок затвора, только глуше. Через секунду он повторился — левее.

Коваль достал из-за пояса нож. Нож был самодельный, из фрезы, с рукоятью, обмотанной синей изолентой; он резал сеть, чистил рыбу и один раз спас его от пьяного кума. В руке он стал тяжёлым и бесполезным.

— Эй! — сказал Коваль в камыш. — Вы чего? Я милицию вызову. Тут рыбколхоз, между прочим.

Камыш качнулся. Ветра не было, и он качнулся не весь, а полосой, будто по нему провели рукой.

Коваль попятился к велосипеду и увидел фигуру.

Она стояла в двадцати шагах, между кустом бузины и водой, и была выше человека на голову, а то и больше. Не сутулая, не горбатая — ровная, как столб. На голове у неё было что-то вроде маски или шлема, из прорезей шёл жёлтый свет, ровный и спокойный, и этот свет смотрел прямо на него.

Коваль не помнил, как повернулся. Помнил, что бежал по колее, по тёплой пыли, босиком, и что щелчки шли за ним — один, другой, третий, — и что ноги у него были быстрые, как в молодости, как в армии, как на соревнованиях в Темрюке, где он взял третье место по бегу.

Фигура оказалась впереди.

Она вышла из-за куста у самой воды и стояла, чуть склонив голову. В руке у неё был длинный, изогнутый, матово блестящий предмет, похожий на серп, которого не бывает. Коваль остановился так резко, что упал на колени, и в этот момент увидел остальных: одну слева, у ивы, вторую справа, у самой кромки камыша. Они не дышали. Он смотрел на них, стоя на коленях, и понимал, что не слышит у них дыхания, а слышит другое: тихое шипение, ровное, как у паровой машины, и очень слабый запах — озон, металл и приторно-сладкое, как от подгнившего варенья.

— Ребята, — сказал Коваль. — Я же ничего. Я сейчас уйду.

Он поднял нож.

Лезвие вошло ему в основание черепа, и это было не больно, а горячо. Слух умирал последним. Коваль ещё слышал, как шумит кровь, как шипит паровая машина, как в камыше, совсем рядом, осторожно квакнула лягушка.

Последняя мысль была короткой и совсем не про Бога: «Надя. Крыша в сарае. Мальчишкам удочки обещал».

Работа заняла двадцать семь секунд.

Тха'де — «идуший по следу». Имя у его народа дают не за род, а за то, что ты умеешь, и произносят с короткой гортанной паузой посередине, которую чужое горло не воспроизводит. Люди позже услышат в этом только «тхаде» — и этого им хватит.

Тха'де работал не спеша. Кожа сходила легко, как мокрый шёлк, если знать, где держать; он знал. Инструменты лежали в поясном креплении, каждый на своём месте, и рука находила их без взгляда. Он вскрыл грудную клетку, развёл рёбра, вынул позвоночник единой дугой — от атланта до крестца — и уложил его на грудь, как укладывают на стол хороший инструмент после работы.

Экземпляр был не идеальный. На костях осел соляной налёт: вода здесь жёсткая, с примесями, и добыча пила её всю жизнь. Тха'де подумал об этом с тем же спокойствием, с каким мастер отмечает в уме, что дерево повело. На черепе он оставил три параллельные борозды и косой штрих — знак первой охоты. На позвонках — короткие насечки: крупный двуногий, голен, уязвимость — шея, глаза, пах.

Сзади подошёл Сайн'де. Он не смотрел на работу; он смотрел на горизонт и на небо, и капсула-проба в его руке тихо потрескивала, разбирая воздух на состав.

— Кислород выше нормы на двенадцать, — сказал он. — Вода жёсткая. Семь видов паразитов в верхнем слое. И ещё что-то. Я не знаю, что это.

Дор'ур, стоявший у воды, повёл головой.

— Тишина неправильная, — сказал он. — Смотри: они не знают. Ни один не знает. Если дичь не знает об охотнике, это не охота. Это бойня.

— Они узнают, — сказал Тха'де. Он поднялся и вытер инструмент о пучок травы. — К утру узнают.

— И что тогда?

— Тогда начнётся.

Он посмотрел на восток, где за плавнями, за полосой камыша, лежала станица: тёмные крыши, два огня у фермы, тонкая нитка шоссе. Там спали люди. Там спала женщина, которой он оставил мужа без кожи, и дети, которым обещали удочки, и старик, который пока ещё ничего не знал.

На западе, высоко, среди разорванных облаков стояла яркая точка. С земли её приняли бы за звезду, если бы в этой стороне неба бывают звёзды в грозу. Точка не двигалась. Корабль висел на орбите, невидимый для радаров, и ждал.

Тха'де надел маску и пошёл к челноку.

Дед Степан Хмара вставал в пять.

Ему было семьдесят, он спал четыре часа и просыпался сам, без будильника, потому что тело помнило службу лучше головы. Он надел сапоги, взял палку, вышел во двор, посмотрел на небо — гроза ушла на восток, оставив после себя мытые звёзды и лужи, в которых стояло небо, — и пошёл к лиману проверять перемены.

Чужой запах он почуял сразу. Так пахнет не дым и не рыба; так пахнет место, где что-то было.

Велосипед он узнал издали, по синей изоленте на багажнике. «Урал» лежал на боку у бузины, переднее колесо ещё крутилось, лениво, как будто велосипед только что упал. Рядом стояли кеды. Один — носком в воду, второй — аккуратно, пятка к пятке, как ставят обувь в сенях.

Тело лежало в двадцати метрах от воды, лицом вниз, и на нём не было кожи.

Дед Степан смотрел на него долго. Потом снял картуз, перекрестился и сказал вслух то, что говорил его отец:

— Водяной вышел на охоту.

Он помнил 1914 год. Ему было четыре, и он помнил не тело — тела он тогда не видел, — а лицо отца, который вернулся с лимана серый, как зола, и всю ночь простоял у иконы, а утром пошёл в станичное правление и сказал: деда Ивана нашли в камышах, кожа снята, голова отдельно, позвоночник на груди. Тогда решили, что это турок. Потом — что волки. Потом перестали решать.

Шестьдесят шесть лет водяной не выходил.

Дед Степан надел картуз, обошёл тело, стараясь не наступить на примятую траву, посмотрел на позвоночник, уложенный на грудь, на три полосы с косым штрихом — и впервые за много лет почувствовал не страх, а то холодное, злое спокойствие, с каким старик встречает то, чего ждал всю жизнь.

Он пошёл к станице. Идти было три километра, и всю дорогу он смотрел под ноги, чтобы не сбиться с колеи, и повторял про себя одно и то же слово, чтобы не думать о другом.

В сельсовете он сказал:

— Звоните в милицию. Гришку Ковалёва убили на ерике. И это не человек.

Председатель Пилипенко, немолодой, с одышкой и привычкой сначала делать, потом спрашивать, сначала налил деду воды из графина. Потом сел за телефон, покрутил ручку, назвал междугороднюю и сказал в трубку:

— Темрюк. Районный отдел. Дежурный? Курчанская беспокоит. У нас убийство. Да. Мужчина. — Он помолчал, слушая. — Нет, не пьяная драка. Григорий Коваль, рыбак. — Ещё помолчал. — Я вам говорю: тут человек без кожи лежит. — Он посмотрел на деда, и в глазах у него было то, чего дед не видел у него никогда: растерянность. — Кожа снята, товарищ милиционер. Вся. И позвоночник отдельно. На груди.

Дежурный на другом конце провода, видимо, спросил что-то про самогон.

— Да не пьяный я! — сказал Пилипенко и тут же взял себя в руки, потому что председатель не имеет права повышать голос на район. — Товарищ милиционер, я вам официально докладываю. И ещё: дед Степан Хмара говорит, что это то же самое, что в пятьдесят третьем было. Помните пятьдесят третье? Курчанский? Бригада пропала? — Он выслушал. — Ну вот. Я тоже помню, мне тогда двадцать было.

Телефон замолчал. Пилипенко положил трубку и сказал:

— Участковый спит. Приедут к девяти, не раньше. Велели ничего не трогать и никого не пускать.

— Не пустишь, — согласился дед. — Только ты туда рыбаков не пускай, Пилипенко. И сам не ходи. И участкового предупреди, чтобы шёл не один.

Он вышел на крыльцо и сел на лавку. Солнце поднялось уже выше тополей, и тень от крыльца стала короткой и совсем не спасала. Дед сидел, положив руки на палку, и смотрел на дорогу, и в голове у него, помимо его воли, разворачивался пятьдесят третий год.

Тогда пропала бригада — трое мужиков с Курчанки, — и искали их неделю. Нашли в плавнях, всех троих, уложенных рядом, и у каждого на груди лежал позвоночник, а на костях были знаки: три полосы, четыре точки, спираль. Тогда тоже говорили про волков. Тогда тоже приезжал человек из края, в костюме, с папкой, и ходил по берегу, и задавал вопросы, и записывал в блокнот, и в конце сказал отцу деда — тому самому, что нашёл деда Ивана в четырнадцатом: «Об этом лучше не рассказывать». Отец рассказывал. А потом перестал: не потому, что испугался, а потому, что перестали слушать.

Дед просидел на лавке до восьми. Потом по дороге от поворота показался мотоцикл с коляской — «Урал», зелёный, с брезентовым верхом, и в коляске сидел парень в милицейской фуражке, слишком большой для его головы.

Дед поднялся.

— Ну наконец-то, — сказал он. — Поехали, сынок. Только ты это... — он посмотрел на парня внимательно, как смотрят на человека, которому сейчас придётся нести чужое, — ты постарайся не блевать. И не трогай ничего. И запоминай, как оно лежит, — потому что оно лежит не просто так, оно лежит, как его положили.

Тха'де сидел у челнока, сняв маску.

Кровь первой добычи полагалось носить до заката следующего дня: это не трофей, это память о том, что охота началась. Она сохла у него на предплечье тонкой бурой коркой и пахла солью.

На внутренней стороне визора светила карта: берег, лиман, плавни, тонкая нитка дороги. В центре карты горела красная метка.

Станица.

Он смотрел на неё и вспоминал правило, которое вбивают в учеников раньше, чем дают им в руки клинок: охота начинается не с добычи, а с того, кто узнаёт об охотнике. Пока страх не дошёл до них, пока они думают, что имеют дело с волком или с пьяным дураком, — они не дичь, а стадо. Стадо не даёт отпора. Стадо бежит в ту сторону, куда его гонят, и гибнет в давке, и это не охота, а убой.

Тха'де не любил убой.

Он полагал — и говорил это вслух на советах, за что его считали молодым и самоуверенным, — что настоящая охота начинается тогда, когда дичь смотрит тебе в глаза и понимает, с кем имеет дело. Тогда у неё есть выбор. Тогда у неё есть шанс. А значит, и у охотника есть шанс на настоящий трофей: не на кость, а на победу.

Диск на его поясе потеплел.

Тха'де опустил на него ладонь. Диск был тёплый, ровный, как тело спящего, и это тепло означало, что на берегу уже кто-то есть. Не зверь. Не случайный человек, забредший к воде. Кто-то, кто пришёл туда, где лежало тело, и не убежал.

Он поднял руку и стёр с предплечья корку крови.

Охота начиналась.

Глава 1. Тело без кожи

На водоёме должен быть хозяин. Хозяин — это мы. - Из выступления на районном активе рыбаков, июнь 1980 года

Жара начиналась в шесть утра и к девяти уже стояла такая, что железо на крыльце обжигало через штаны.

Виктор Гончар сидел на ступеньке участкового пункта, держал в руке железную кружку с водой и смотрел, как по двору ходит курица. Вода в кружке была тёплая, отдавала ржавчиной и пахла колодцем. Он выпил половину, остальное вылил на ладонь и приложил к шее.

Ему было двадцать три. Младший лейтенант, участковый по Курчанскому сельсовету: четыре хутора, три бригады рыбколхоза, полторы тысячи жителей, один мотоцикл с коляской, одна комната в пятистенке, отданной милиции два года назад, — с печью, столом, сейфом и портретом на стене, который никто не снимал, потому что не знали, можно ли. Он попал сюда после училища, просил Темрюк, получил станицу и сначала считал это ссылкой, а потом привык и даже полюбил: тут всё было видно, тут всё было на расстоянии вытянутой руки, и если кто-то врал, то врал неумело.

На лавке у палисадника сидел дед Степан Хмара, курил махорку и молчал так, как умеют молчать старики: не обиженно, а выжидаяще.

— Гришка Коваль, — сказал он наконец. — Велосипед его. Сапоги его. Я сапоги узнал.

— Дед, — сказал Гончар. — Я же не спорю, что сапоги.

— А ты не спорь, что и позвоночник его.

Гончар поставил кружку на ступеньку.

— Как это — позвоночник?

— А вот так. Лежит отдельно. На груди. — Дед затянулся и выпустил дым в сторону, аккуратно, чтобы не на парня. — Ты поезжай, сынок. Ты поезжай и посмотри. И вот ещё что: ты никого туда не бери. И сам иди не по траве, а по колее, и смотри, куда ставишь ногу. Там трава примята кругом. Ровным кругом, понимаешь? Не как дрались, не как топтались. Как будто кто-то встал посреди и постоял.

Гончар смотрел на него и думал о том, что деду семьдесят, что он всю жизнь прожил у воды, что он нашёл в пятьдесят третьем бригаду на Курчанском и с тех пор, говорят, ни разу не зашёл в воду выше колена. В станице его слушали и над ним посмеивались одновременно, как всегда бывает со стариками, которые говорят правду не вовремя.

— Поехали, — сказал Гончар.

Мотоцикл завёлся с третьего раза, и они поехали по собственной колее, вдоль ерика, мимо кукурузы, мимо старой сушилки, где в тени лежали два пса и даже не подняли головы. Ветер от движения был горячий, как из печи. Дед сидел в коляске прямо, держа палку между колен, и всю дорогу смотрел вперёд.

Тело лежало в двадцати метрах от воды, лицом вниз, и Гончар, ещё не дойдя, понял, что дед был прав насчёт круга.

Трава вокруг была примята ровно, по окружности метров полутора, как будто кто-то очертил это место циркулем и внутри него ходил, но за границу не выходил. Ни следов драки, ни вытопанных пятен, ни брошенных вещей. Только тело, круг травы и велосипед у бузины, лежащий на боку.

Гончар остановился. Ему было двадцать три, и он впервые в жизни почувствовал, что форма, фуражка и блокнот не имеют к тому, что он видит, никакого отношения.

— Дед, — сказал он. — Отойди к мотоциклу. Пожалуйста.

Он достал блокнот, потому что не знал, что ещё делать. Потом достал рулетку. Потом, подумав, снял фуражку — не из уважения к покойному, а потому что она мешала смотреть.

Кожа была снята от лодыжек до плеч. Не сорвана, не разорвана — снята, как снимают с убитого зайца, аккуратно, с сохранением формы, и Гончар, который в армии видел разное, а в училище — фотографии, всё равно не смог удержать в голове мысль, что это сделал человек. Рёбра были разведены в стороны, как створки, и внутри было пусто и чисто, и на груди лежал позвоночник — целиком, от шеи до таза, уложенный ровно, как укладывают на стол линейку.

Крови не было.

Гончар обошёл тело по кругу, стараясь не наступать на примятую траву, и остановился. Он смотрел на землю долго, пока глаза не начали слезиться от солнца, и наконец увидел: в грязи у самой воды, там, где берег был мягкий, отпечатался след.

Он присел, достал рулетку, растянул её — и не поверил.

Тридцать четыре сантиметра. Пять пальцев. И в каждом пальце — три длинные борозды, как будто по грязи провели не лапой, а вилкой.

Он перемерил. Потом перемерил ещё раз, потому что рулетка скользила, а руки были мокрые. Потом достал блокнот и нарисовал след так, как учили: контур, пальцы, направление борозд, масштаб. Рисовал он плохо и знал это, но рисовал старательно, нажимая на карандаш.

— Дед, — позвал он. — Тут след.

— Знаю, — сказал дед Степан от мотоцикла. — Я его видел. Я на него не наступал.

— Тридцать четыре сантиметра.

— И что?

— У волка, дед, след — ну, с ладонь.

— А это не волк, — сказал дед спокойно. — Это водяной. Он в пятьдесят третьем так же ходил. И в четырнадцатом.

Гончар закрыл блокнот. Ему хотелось сказать: дед, ну какой водяной, сейчас восьмидесятый год на дворе, в Москве Олимпиада, у нас тут рыбколхоз и сельсовет. Но он посмотрел на позвоночник, уложенный на груди, и ничего не сказал.

— Он молнией пришёл, — сказал дед. — Ночью. Я видел, как в лиман ударило, за камышовым островом. Там, где топкое, куда никто не ходит. Вот оттуда и вышел.

Гончар поднялся и посмотрел в сторону камышового острова. Отсюда его не было видно — только стена камыша и вода, гладкая, как жёсть.

— Дед, — сказал он. — Я сейчас поеду в Темрюк. А ты тут побудь. Только никого не подпускай.

— А я что, по-твоему, делаю? — сказал дед. — Я тут с пяти утра сижу. Я уже двоих отогнал. Сказал: хлорку разлили, идите отсюда, а то глаза выест. Они и пошли.

Гончар посмотрел на него и впервые за утро улыбнулся.

— Правильно сказал, — сказал он. — Так и говори. Хлорка.

Он надел фуражку, сел на мотоцикл и поехал в райцентр, и всю дорогу — двадцать два километра по жаре — держал в голове одну мысль, которая была не про водяного и не про след. Мысль была про то, что он сегодня утром выпил тёплую воду, вылил остаток на ладонь и пошёл на крыльцо, и что мир, в котором так делают, только что кончился.

В Темрюке, в районном отделе внутренних дел на улице Розы Люксембург, капитан Андрей Петрович Северин разбирал кражу из магазина в Голубицкой.

Кража была глупая: в ночь на среду вынесли рулон линолеума, четыре банки консервов, радиолу «Ригонда» и ящик гвоздей. Подозреваемый — Гуров, слесарь с винзавода, — уже сидел в коридоре и смотрел в пол. Северин писал постановление, когда в дверь постучали и дежурный сказал, что звонит участковый из Курчанской и говорит такое, что лучше бы послушать лично.

Северин снял трубку.

— Капитан Северин.

— Товарищ капитан, — сказал молодой голос, и Северин услышал, как тот набирает воздух, — это Гончар, Курчанская. У нас тут убийство. Даже не знаю, убийство ли.

— Что значит «даже не знаю»?

— Кожа содрана. Вся. И позвоночник отдельно лежит. На груди.

В кабинете было жарко, за окном сигналили машины, в коридоре Гуров кашлял. Северин смотрел на телефонный аппарат и ждал, когда молодой голос скажет что-нибудь ещё: что пошутил, что перегрелся, что это пьяная драка и он просто испугался.

— Крови нет, — сказал Гончар. — Совсем нет. И след. Тридцать четыре сантиметра, пять пальцев, с когтями.

— Никого не подпускай, — сказал Северин. — Оцепи, чем можешь. И ничего не трогай. Он положил трубку и посидел ещё секунду, глядя в постановление.

Потом набрал внутренний.

— Иван Степаныч, — сказал он. — Курчанская. Убийство. Кожа снята, позвоночник на груди. След тридцать четыре сантиметра. — Он выслушал. — Нет, не пьяный. Гончар не пьёт.

Подполковник Калюжный помолчал так долго, что стало слышно, как в его кабинете работает вентилятор.

— Езжай, — сказал он. — И возьми Барсукова с фотоаппаратом. И вот что, Андрей. — Он помолчал ещё. — Ты когда приедешь, позвони мне сразу. Не через час. Сразу.

Полевая сумка лежала в шкафу: блокнот, рулетка, лупа, пинцет, пакеты, «Зенит-Е» с плёнкой на тридцать шесть кадров. Северин проверил «Макарова», дослал обойму, хотя знал, что не понадобится, и вышел в коридор.

Лейтенант Барсуков, криминалист, спал на стуле у окна, положив голову на папку. В кармане у него всегда лежала луковица — он уверял, что от сердца, и грыз её, как яблоко, чем приводил в ужас машинистку.

— Барсуков, — сказал Северин. — Вставай. Курчанская.

— А что в Курчанской? — спросил Барсуков, не открывая глаз.

— Человек без кожи.

Барсуков открыл глаза. Потом достал из кармана луковицу, посмотрел на неё и положил обратно.

— Ну вот, — сказал он. — А я только собрался пообедать.

К полудню на берегу было сорок градусов в тени, а тени не было.

Трава, примятая кругом, уже начала подниматься, и Гончар ходил по кромке, отгоняя мух веткой. Мухи садились на тело, и он сгонял их, и это было единственное, что он мог сделать, и от этого он злился сильнее, чем от всего остального.

Северин вышел из машины, надел фуражку и пошёл по колее, как велел дед. Он смотрел не на тело, а на землю: на примятую траву, на след у воды, на велосипед. Потом присел у тела и посмотрел на позвоночник.

— Барсуков, — сказал он. — Сними сначала общий план. Потом круг. Потом след. И сделай слепок, гипс в багажнике.

— Есть, — сказал Барсуков и пошёл к машине, и по дороге достал луковицу.

Северин смотрел на тело и ждал, когда появится то, что всегда появляется: следы борьбы, кровь, отпечатки, что-нибудь, за что можно взяться. Ничего не появлялось.

— Он не сопротивлялся, — сказал Северин вслух.

— Он бежал, — сказал дед Степан от мотоцикла. — Он до последнего бежал. Я по следам видел: он бежал к станице, а оно его обошло. Оно быстрее.

— Оно? — переспросил Северин.

— Оно, — сказал дед. — Их трое было. Я по следам видел: три пары. И одна пара — с когтями, тяжёлая. А две — полегче.

Северин поднялся и посмотрел на старика. Тот сидел на коляске мотоцикла, держал палку и смотрел на воду, и в его лице не было ни страха, ни азарта — только усталость человека, который слишком долго ждал, что его наконец услышат.

— Степан Данилович, — сказал Северин. — Вы можете мне рассказать всё, что помните? Не про водяного. Про то, что видели. По порядку.

— Могу, — сказал дед. — Только ты мне сначала скажи: ты мне веришь?

Северин посмотрел на позвоночник, на примятую траву, на след у воды.

— Я вам верю, — сказал он. — Я не верю, что это водяной. Но вам я верю.

Дед кивнул, как будто этого ответа ждал всю жизнь, и начал рассказывать — про грозу, про зелёный свет, про то, как в четырнадцатом нашли деда Ивана, и про то, как в пятьдесят третьем искали бригаду неделю и нашли всех троих рядом.

Северин слушал и записывал. Он записывал всё: про свет, про тела, про знаки на костях, про то, что водяной берёт только мужчин и только сильных. Он не перебивал и не спорил, потому что уже понял главное: старик не врёт и не выдумывает. Он просто рассказывает то, что видел.

Когда дед закончил, Северин закрыл блокнот.

— Спасибо, — сказал он. — Теперь поедem в станицу. Вы мне покажете дом Ковалёва. И покажете, где он ставил сеть.

— Покажу, — сказал дед. — Только ты это... — Он помолчал. — Ты в воду не лезь. Ни сегодня, ни завтра.

— Я не полезу, — сказал Северин.

Он соврал, и оба это знали.

Вечером, в кабинете Калюжного, пахло вентилятором и чаем.

— Значит, так, — сказал подполковник, разворачивая на столе карту района. — Четыре трупа за две недели у нас ещё не было. — Он помолчал. — Я имею в виду, таких трупов.

— Четыре? — сказал Северин.

— Четыре, — сказал Калюжный. — Коваль. Седов из Чёрного Ерика — его сегодня нашли, я тебе не успел сказать. Солдат на чеках. И старшина на границе поймы, утром. — Он ткнул карандашом в карту, и точки сложились в кривую, идущую вдоль воды. — И знаешь, что мне не нравится? Они все у воды. И все — мужчины. И все — здоровые.

— И у всех кожа снята, — сказал Северин.

— И у всех, — сказал Калюжный. — По заключению Штерн, которое она ещё не подписала, но уже сказала мне по телефону.

Он сел, откинулся в кресле и посмотрел на Северина так, как смотрят на человека, которому сейчас придётся сказать неприятное.

— Андрей, — сказал он. — До Олимпиады месяц. В районе — ни одной свободной машины, ни одного лишнего человека: всех, кого можно, сняли и отправили в Москву. Если в станице пойдёт слух, что по лиману ходит нечисть, — знаешь, что будет? Приедет не Штерн. Приедет совсем другая машина. — Он помолчал. — И тогда нас с тобой не будет.

— А что будет?

— Будет тишина, — сказал Калюжный. — И четыре закрытых гроба.

Он взял со стола рапорт Северина, прочитал его, поставил резолюцию и, помедлив, дописал что-то карандашом сбоку.

Северин увидел, что написано, когда подполковник протянул ему папку.

Карандашом, мелко, в уголке: «Будь осторожен, Андрей. Это не наше. Это сверху».

На улице уже темнело. Северин вышел из отдела, закурил и посмотрел на небо. Над лиманом стояла та же духота, и в ней, высоко, тонкой чертой прошёл след — как от самолёта, только слишком ровный и слишком короткий. Самолёты в эту сторону не летали.

Он докурил, бросил окурочок в урну и сел в машину.

До морга было десять минут. Штерн ждала его там с восьми, и он знал, что она не ушла, потому что она никогда не уходила, пока не посмотрит сама.

По дороге он думал о Пашке. Пашке было двенадцать, он жил с ним в двухкомнатной квартире на улице Октябрьской, и сегодня утром он ушёл в школу, а точнее — сказал, что в школу, потому что каникулы, и Северин сделал

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.